

– Просто ума не приложу, что с вами делать... – Николай Александрович Уртминцев, декан факультета судовождения и эксплуатации водного транспорта ГИИВТа – высокий, поджарый, с несколько вытянутым лицом и доброжелательным взглядом светло-серых глаз под квадратными стёклами очков, – бросил авторучку на пачку лежащих перед ним на большом полированном столе листов и грустно посмотрел на меня.

Вот уже полчаса я, тоскливо переминаясь с ноги на ногу, стою перед ним, слушая сетования по поводу того, в какую сложную ситуацию я поставил и его, и всё руководство факультета. Проблема же, на мой взгляд, не стоит выеденного яйца. По утверждённому учебному плану я вместе с однокурсниками по окончании семестра должен бы отправиться на месячную ознакомительную практику на борту какого-нибудь волжского сухогруза, где будущие судоводители, пощупав, что называется, своими руками его устройство – от машинного отделения до рубки – приобрели бы полное право претендовать (естественно, при успешной сдаче сессии) на статус второкурсников. Однако, в отличие от других, я, в школьные годы получивший начальное профильное образование в Детском речном пароходстве, уже имею диплом рулевого-моториста, что даёт мне право наравне с третьекурсниками проходить полновесную практику в данной должности. Казалось бы, чего проще? Пошлите меня «руль-мотором», и дело с концом! (Я, кстати, именно на это и рассчитывал, наивно мечтая, подзаработав за месяц практики, оставшееся каникулярное время провести в горах Кавказа, где год назад вместе с друзьями детства уже восходил на Эльбрус к «Приюту одиннадцати» и даже карабкался по леднику «Куриная грудка», переходя через перевал Бечо).

Увы. Из рассуждений Николая Александровича выходило, что на должность меня направить невозможно. (Трудиться, так всю навигацию. А на дворе – конец мая, весь флот уже в работе. А у меня – впереди сессия. Да и вообще, о чём говорить: мне нет ещё восемнадцати, а по закону раньше этого возраста зачислить в штат не имеют права. С другой стороны, посылать дипломированного специалиста на ознакомительную – нелепость!)

В общем, получался замкнутый круг, из которого декан выхода не видел.

– А может, вы меня формально включите в список...

– Давайте не будем начинать профессию со лжи! А потом, если с вами что-то за этот месяц случится... ну, не приведи, под машину попадёте... мне отвечать?

– Николай Александрович! – пробурчала в приоткрытую дверь секретарша декана. – Тут мужчина какой-то уже полчаса к вам рвётся. Говорю – занят, а он – времени нет ждать.

– Ну что у него там за пожар?

– Не пожар, но времени вправду в обрез. – Чуть не оттолкнув секретаршу, в кабинет ворвался здоровенный бородатый мужик. – Пламенный привет от Мурманска! – делая ударение на «а», гаркнул он. – Выручайте, братцы! Тралфлоту до зарезу нужны матросы. Путина, ёшкин кот, а экипажи не укомплектованы. Вот послали с миру по нитке насобирать. Я – сперва по профильным. Может, подсобите кем, хоть на рейс?

– Нет, знаете ли, ничем помочь не сможем. У нас все студенты на производственных практиках, согласно учебным планам. Впрочем... – декан оглядел меня с ног до головы, – кажется, это выход... А что? Как говорится, и волки, и овцы. Готов, Михаил, испытать себя в водах Ледовитого?

«Эх ты! – неожиданный поворот событий ворвался в сознание вихрем противоречивых (от детского восторга до животного страха) чувств. – Ледовитый – это не Кавказ. Это настоящая мужская работа среди непредсказуемой стихии. Ребята лопнут от зависти!».

– Сог-гласен, конечно! – поперхнувшись подкатившей к горлу нервной слюной, выдохнул я. – Только... сессия ведь...

– Месяца хватит? – перехватив вопросительный взгляд декана, ещё не веря в удачу, выпалил «наниматель». – Самый жор с конца июля начнётся.

– Если без завалов – с лихвой, – саркастически хмыкнул Уртминцев. – Справишься ли?

– Да я... да мне...

– Ладно, ладно... Вишь как глаза загорелись! Это мне нравится. Не струсил. Давайте, забирайте его. Но только чтоб по всем правилам был оформлен и, главное, обязательно технику безопасности прошёл!

В момент встречи Мурманск показался небольшим, серовато-незрачным и, несмотря на середину августа, хмуро-холодным, пронизываемым непрекращающимися ветрами, со стандартными, притулившимися к склону сопки пятиэтажками. С правой стороны они спускались ярусами к главному, традиционно носящему имя Ленина проспекту, длинной дугой выходящему по берегу Кольского залива. Слева – вытянулись вдоль разномастных заборов, за коими причудливым ажуром высились, переплетаясь, конструкции портовых и судоремонтных кра-

нов, за которыми, покачиваясь, мелькали кресты судовых мачт. Вглядываясь сквозь окна забравшего нас в аэропорту тралфлотовского автобуса в кварталы города, мы – девять «наёмников» из Горького (кроме меня «покупателю» удалось сблатовать восьмерых инязовцев) – лениво перекидывались комментариями.

– Да, се не бьютифул!

– И даже не комильфо!

– Зато – романтика! «В Кейптаунском порту с пробоиной в борту...» – шарахнув по струнам неизменной своей спутницы – старенькой ширпотребовской гитары, – внёс я свою лепту в разговор.

– Тебе-то, Михаил как будущему мариману понятно, и пробоина – в кайф. А нам бы как-нибудь без романтики.

– Да бы уж... – положив мне на плечо руку, мечтательно произнёс сидевший рядом на сидении низкорослый крепыш Крош. – Нам бы чтоб где-нибудь недалеко от берега да без качки, – но... за приличные мани!

– То есть и рыбку съесть, и на хрен сесть?

– Будут вам, салаги, и рыбка, и деньжищи, не чета институтским стипендиям, – буркнул сквозь всеобщий хохот встретивший нас портовский кадровик. – А нарвётесь, так и на хрен сядете. Рыбаки – народ жёсткий, в академиях не обученный. Скоро сами увидите.

– Ну, мерси, батенька, облагодетельствовал! – парировал долговязый и оттого выглядевший худым Володя, ещё при встрече в горьковском аэропорту поразивший меня утончёнными чертами лица и, не свойственным остальным изяществом речи. Я тогда подумал: «Ему бы на скрипочке пиликать, а в море – сдохнет!»

– Баста, кончай баланду травить! Приехали, – прервал наш трёп кадровик.

– Куда это?

– Пару дней проведёте в ДМО...

– ?!

– В Доме междурейсового отдыха рыбаков. За это время оформим вас, ТБ начитаем и – море пахать!

ДМО оказался шестиэтажной довольно невзрачной гостиницей с двумя пристроями по бокам, в которых размещались ресторан-столовая, несколько магазинов и служба быта. После недолгих препирательств (кому с кем рядом спать), наша освободившаяся от багажа полужнакомая компания, вывалила на улицу: город посмотреть, а главное – как следует затариться на предстоящий «вечер знакомств».

Три дня, состоявшие до обеда из организационной суеты в отделе кадров, с двадцатиминутным (на закуску) экскурсом в область техники безопасности и обильными, изъясными из наших карманов весь великий запас наличности, вечерне-ночными возлияниями, пролетели ментально.

– Ну, так... – не отрывая взгляда от заполняемых моими биографическими данными бланков, на утро четвёртого дня холодно произнёс коренастый кадровик в допотопных роговых очках, почти посередине пересекающих огромное багровокожее пространство переходящего в лысину лица. – Вас, товарищ Пёсин, мы пошлём на... – он пробежал кончиком карандаша по листку с длиннющим списком, – на «Сириус».

– Пёсин я...

– Один хрен – на «Сириус»!

Через полчаса, попрощавшись наскоро, но сердечно как с близкими (успевшими стать таковыми за минувшие беспробудные дни) друзьями, я, навьюченный рюкзаком и гитарой, с авоськой прикупленной на остатки средств провизии – кто его знает, когда покормят? – шёл по исшарканным доскам пирса, вдоль которого теснились столь же невзрачные, со следами ржавчины на непонятого цвета бортах, пришвартованные рыболовецкие суда. В тайне, уповая на романтичность имени, я надеялся, что уж моему-то «Сириусу» эти доходяжки не чета. Оттого, видимо, и пролетел мимо своего траулера, уйдя чуть ли не в самый конец длиннющего причала. Пришлось возвращаться, чтобы наконец упереться грустным взглядом в слабо читаемое на носу искомое название.

– Ты шо ж, хлопец, чи прогулятися удумал, чи шо? – скептически оглядев меня с ног до головы, хохотнул стоявший у трапа здоровенный, в туго обтягивающем широченные плечи грубом коричневом свитере, мужик лет тридцати пяти, едва я вскарабкался по наклонным покачивающимся сходням на борт.

– А меня к вам матросом направили, да названия сразу не разглядел. Вот и протопал...

– Да-к я ж не про то бачу! Дивлюсь: идет хлопец – з котомкой, банду-рой... Як турист якої. Туды сгонял, обратно чешет. И – до нас. По шо? Не разумію. А ты, выходит, оно как – матросом... Ну, ходь до мэне, турист, будемо знаёмы: Мыкола!

С этого момента украинец Николай (по его собственному выражению, «хлопчик с-пид Киеву») иначе как «туристом» меня не называл. Но я не обижался, поскольку звучало в его устах это прозвище не только по-доброму, но даже как-то по-отечески. Тем более, что потом он меня – салагу – ни только многому научил, но и сохранил мне жизнь.

Но это потом. А в тот первый день моего «мариманства» тралмейстер Мыкола как вахтенный лишь представил меня капитану, внешне никак не соответствовавшему моему представлению о «морских волках» – низкорослому, полноватому мужчине лет под пятьдесят с белой шапкой жестких волос и усталыми, как показалось, бесцветными глазами, назвавшемуся Василием Давыдовичем. Тёзкость наших отчеств привела его в некоторое замешательство («Двух Давыдычей на одном борту быть не должно!»), но тотчас найдя выход из этой ситуации («Будешь Студентом зваться»), он отправил меня в трюм полубака, где размещались кубрики команды, «с коечкой определиться и, вообще... принять рабочий вид».

Как и следовало ожидать, встретившие меня старожилы, не церемонясь, указали новичку на дверь самого некомфортного, находящегося возле трапа кубрика. Некомфортность, как выяснилось позже, заключалась не столько в тесноте узкого трапезиевидного пенала, заполненного двухъярусными коечками и двумя вертикальными рундуками так, что протиснуться между ними можно было лишь боком (в конце концов, измотанный вахтой, я приходил туда лишь для того, чтобы, тотчас рухнув в койку, забыться тяжелым недолгим сном), сколько именно в соседстве с трапом, по которому, нещадно громяхая сапогами, непрерывно сновали туда-сюда соседи по полубаку.

Грохот этот в первую же ночь достал меня до печёнок, никак не давая забыться сном. Когда же, наконец, усталость взяла своё, почти тотчас, как мне казалось, в вожделенный сон влилась трудно переводимая фраза: «Барадабэкивставатнадабжалуста».

– А? Что?! – С трудом возвращаясь в действительность, я резко вскочил с койки и чуть не упал, почувствовав головокружение. Каюта вместе со всем содержимым раскачивалась из стороны в сторону, отчего мои внутренности тоскливо поползли к горлу, желая выйти вон. Я инстинктивно попытался удержаться на ногах, вцепившись в поручень верхней койки, и сразу же чьи-то крепкие руки, поддерживая, сдавили меня с боков, а темноволосая, в замасленной тубетейке голова вплотную приблизилась к моей, обдавая желудочно-перегарным смрадом.

– Плоко сабсем, барада бэк?

Начав понимать исковерканные восточным акцентом слова, с трудом преодолевая усиливающуюся тошноту, я, стараясь не вдыхать зловоние, взгляделся в собеседника. Им оказался низкорослый, щупленький узбек с добрыми, смеющимися пуговками чёрных глаз, назвавшийся исконно узбекским именем Ваня, которого притом, совсем не по возрасту, скорее из-за комплекции, команда звала Юнгой.

– Бажалуста рупка нато ходит. Фахта двой. Капитана совет.

– А который час-то?

– Чедыры удра, уфажаемый. Фахта двой.

Так в четыре утра августа 1967 года среди детского трехбалльного шторма, встретившего траулер сразу же после выхода из Кольского залива (хоть мне и казалось, что забытьё было недолгим, а и уход из порта, и желанную панораму исчезающего вдаль Мурманска я, увы, проспал), началась моя работа на «Сириусе». Без каких бы то ни было предисловий, адаптирований, скидок на возраст и отсутствие необходимых профессиональных навыков. Сразу – «К штурвалу! Держать на рубке столько-то! В рубке – не курить!»

Ну, «держат на рубке» – еще куда ни шло. Хоть и не ходил никогда в море, а держать нос судна на створ Детское пароходство научило, и нет большой разницы: не давать рыскать флагштоку или стрелке компаса. Другой разговор, что на тихой Оке (а рулил я до того лишь по ней, на небольшом «Москвиче» да по глади летних вод) особых проблем с этим не было: переваливай от створа к створу по коридору буёв, всего-то и делов. Баренцево же, едва мои ладони сжали рукоятки штурвала, так вдарило волной по борту траулера, что этот, метра полтора в диаметре, штурвал резко покотился вправо, выворачивая руки и отрывая от палубы рубки беспечно-вялые, прижатые друг к другу ноги. Последнее, что увидел я перед тем, как шмякнуться, – резко направившийся на правый разворот нос траулера.

– Ку-уда, мать-перемать! Студент, твою так! Потопить нас всех хочешь!! – бросился к штурвалу капитан, едва не наступив на моё распластанное под ним тело.

Думал – убьёт! Нет. Выправив курс, вернул к штурвалу и минут через пятнадцать, с помощью мата и весьма жёстких физических действий по обучению правильной постановке рук и ног, я уже приобрёл необходимые навыки вахтенного рулевого.

Так что «держат на рубке» – еще куда ни шло. Хуже, когда пошло другое. В буквальном смысле. Копившееся под горлом содержимое желудка, поскольку оторвать руку от штурвала, дабы прикрыть рот, я не мог, вырвалось фонтаном на близлежащие приборы.

Морская болезнь... Сколько раз я о ней слышал и читал, никоим образом не относя к себе возможные последствия качки. Даже согласившись на работу в Тралфлоте, ни разу не задумался о том, как перенесёт её мой организм. И вот теперь, видя наглядное проявление возмущения

вестибулярного аппарата, вместе с чувством стыда за произошедшее, я ощутил жуткий ужас от пришедшей в кружащуюся голову мысли: «Я – профнепригоден! Море вывернет меня наизнанку и, судя по жёсткости местных нравов, это никого не будет волновать. Не только заставят вкалывать, но и заклюют насмешками, да издёвками». Тотчас в памяти всплыла ситуация из моего десятилетнего детства, когда работавшая бухгалтером в Горьковском аэропорту мама договорилась с лётчиками покатать мальчика на самолёте. Провожала она в полчасовой, до поселка Гагино, полёт розовощёкого, разодетого в новенькую белую рубашку и чёрные, отутюженные до стрелок брюки сына, а встретила бледно-зелёное, измученное пережитым, Непонятно что в помятой одежде с красноречивыми следами реакции его организма на постоянные падения «кукурузника» в воздушные ямы. «Идиот! Как же я забыл об этой истории, уже тогда однозначно доказавшей, что ни о какой качке в моей жизни просто не может быть речи! Всё. Это – финал!»

Однако, на удивление, находившиеся в рубке (а кроме капитана свидетелями моего позора были боцман Степан Семёныч по прозвищу СС и Юнга) отнеслись к произошедшему не только спокойно, но и с пониманием. Перехватив у меня штурвал, СС красноречивым взглядом дал указание Юнге «Навести порядок», а кэп, легонько подтолкнув меня к выходу на мостик, по-отечески произнёс:

– Иди, Студент, проблуйся. Только за леера крепче держись, чтоб не нырнуть! И – не переживай! Не ты первый. Меня знаешь, как травило!?! Ничего, привык. Считаю, проходишь морское крещение!

– А вдруг не привыкну? – спросил я, справившись с приступом рвоты и возвращаясь к штурвалу.

– Бывает и так. Нельсон вон всю жизнь мариманил и всю жизнь блювал. У него для этого даже специальная бочка на мостике стояла.

К счастью, история моей морской болезни оказалась короткой. Промучившись три дня (благо они пришлись на переход до района лова и кроме стояния у штурвала да приборок в полубаке иной работы у меня не было), я, в очередной раз выходя на вахту (уже дневную, в 16.00), с радостью обнаружил, что организм мой абсолютно не реагирует на пляску палубы. Более того, непрерывный душ сверкающих на солнце солёных брызг и наполненный морской свежестью прохладный, бьющий по щекам упругим ветром воздух наполняют душу ощущением молодецкого здоровья и весёлого азарта. Причина ль тому моя физиология или (во всяком случае, не без этого) старания нашего кока Ёкселя (от привычки вставлять в каждую фразу «ёксель-моксель»), который, несмотря на активное сопротивление моего организма, буквально впихивал в него десятки солёных огурцов, зелёных помидоров и пластов квашеной капусты, но факт остаётся фактом: с четвёртого дня и присно (а в последующие месяцы «рыбалки» пришлось познать прелести и шести-, и даже восьмибалльных штормов) качка превратилась в обычный атрибут окружающего мира.

И тут я... увидел Море.

Нет, не увидел – осознал себя в нём, а его в себе! Бескрайнее, зеленоватое у борта, потом – тёмно-стальное и, наконец, почти белое, едва различимо переходящее этой белизной в холодное, такое же бескрайнее небо, как бы зеркально отражающее тёмную сталь вод. Размеренно поднимая к небесам то правый, то левый горизонты, оно вздымалось над бортом полупрозрачными языками волн, которые, на долю секунды зависнув над ним, с шумом обрушивались на палубу, превращая

на какое-то время всё её пространство в студёный бассейн, тотчас с шипением опоражнивающийся сквозь бортовые щели и кингстоны. И всё это продолжалось бесконечно – без пауз и передышки – с той лишь разницей, что бьющие по траулеру валы периодически меняли высоту и силу: от небольших до громадных. Довершал великолепную картину буйства неукротимой стихии ветер: прохладный, тугой, осязаемый, выглаживающий влажной ладонью мои щёки и жёсткой щёткой взлохмачивающий ещё не совсем отросшую бородку, проникающий холодными пальцами за ворот грубого рыбацкого свитера и раздувающий полы и штанины рокана и буксов.

Картина эта была не только не страшной – радостной, полностью принимаемой моей душой, как будто она – душа – ничего другого никогда и не знала.

Впрочем, очень скоро, буквально на следующий день, радость эта сменилась сначала дикой усталостью, а затем, через пару-тройку дней, угрюмой раздражённостью. «Сириус» наконец пришёл в район лова, и... началась пахота.

Для того чтобы нюансы дальнейшего повествования были понятны неспециалистам, позволю себе небольшой профессиональный ликбез.

Что такое промышленный лов рыбы траулером с бортовым тралом?

Обнаружив на экране эхолота косяк рыбы, вахтенный начальник, дав команду «Трал – за борт!», направляет судно по кругу. Сбрасываемый несколькими порциями – «кошелями» – трал – большая конусообразная сеть, буксируемая на длинных тросах, – улавливает встречающуюся на его пути рыбу. Чтобы верхняя подбора трала поднялась, ее оснащают специальными гидродинамическими поплавками – стальными двухкилограммовыми кухтылями 20-сантиметрового диаметра. Нижняя же подбора снабжена жестким стальным тросом – грунтропом, на который насажены полые стальные шары диаметром около 60 сантиметров, называемые бобинцами и многокилограммовые чугунные катушки. Вся эта тяжесть с палубы за борт переносится с помощью брашпиля и грузовой стрелы, но и приставленному к данному процессу «матросу III класса» требуется немалая сила. Когда же трал сброшен, необходимо срочно с носа на корму (а это почти полсотни метров!) перенести, так называемый «бешеный конец» – чуть ли не с руку толщиной трос с двадцатипятикилограммовым гаком на конце, которым надо ухитриться зацепить оба натянувшихся струной ваера, чтобы затем намертво закрепить их специальным стопором, дабы те не намотались на винт. Естественно, это обязанность всё того же матроса. Излишне говорить, что в моей вахте им был я.

Стоит отметить, что эти и без того нелёгкие операции, как правило, проходят среди нескончаемой бортовой качки и ледяного душа обрушивающихся на палубу волн, многократно увеличивая тяжесть матросской работы. Остальные же члены бригады рыбообработчиков, в которую помимо матроса входят «головоруб» (одним движением топорика отсекающий «туфелькой» рыбную голову) и три шкерщика (молниеносным жестом вспарывающих шкерочным ножом рыбе брюхо, одновременно очищая его от потрохов), как высшая каста всё это время преспокойно курят, травя байки под навесом полубака.

Наконец ваера застопорены и, пока трал наполняется рыбой (если, конечно, наполняется!), можно, забившись в узкий закуток на корме, перекурить, потирая саднящее от «бешеного конца» плечо. Недолго.

Минут через пятнадцать-двадцать по завершении траулерам полного круга всё начинается в обратном порядке: отдать рукоятку стопора (стараясь при этом держаться подальше от борта, дабы освобождённая пружина верхнего ваера, пролетев по нему, словно нож гильотины, не отрубила тебе пальцы, а то и – рассказывают, такое случалось, – голову); быстро отнести «бешеный конец» на нос; успеть оказаться у борта как раз в тот момент, когда под ним появится гремящий бобинцами оголовок трала; подцепить его откидным гачком лебёточного троса... И вот уже, подтянутая к стреле, громадная, переливающаяся живым серебром сигара первого кошеля переносится над твоей головой, обильно поливая ледяными потоками, к «ящику». И надо, метнувшись к нему, тотчас отдать гачок, чтобы шевелящееся содержимое сети рухнуло в огороженное деревянными бортиками ящичное пространство. И, мигом вернувшись к борту, подцепить кольцо второго кошеля. И – если трал полон – повторить всё ещё трижды.

К моменту полного опорожнения трала «высшая каста» бригады уже стоит за пересекающим палубу поперёк разделочным столом, нетерпеливо постукивая ножами и не иначе как матом требуя от своего третьеклассного коллеги немедленно начать подачу рыбы. И, забравшись в ящик, сдавленный до плеч шевелящейся рыбной массой, ты начинаешь выкладывать на столешницу перед головорубом тушки, в основном трески, а бывало и зубатки, и синюхи, и даже палтуса.

Казалось бы, ничего сложного: подумаешь, работа – рыбу подавать! Но, во-первых, это в горьковских магазинах продавалась худосочная треска длиной от силы сантиметров сорок. Среди той, что заполняла ящик, эта мелюзга была для меня приятным исключением. В основном же приходилось подавать почти метровые (а то и более) жирные тяжеловесные рыбины. Во-вторых, поскольку мне повезло попасть в «бригаду коммунистического труда», в которой каждый шкерщик обрабатывал по двадцать рыбин в минуту, то для троих я должен был выкладывать ежесекундно по рыбине, обеспечивая бесперебойный процесс с такой же пулемётной скоростью тяпающего головорубца.

В ту первую вахту, пока рыбины шевелились под моим подбородком, я ещё как-то справлялся (хоть и умаялся так, что руки к концу первого получаса, налившись свинцом, с трудом двигались, глаза заливало нескончаемыми потоками пота, а тело под рокан-буксами, казалось, плавало в нём), но стоило ящику опорожниться до пояса, как паузы в подаче рыбы начали увеличиваться до десятков секунд, вызывая громогласно-матерные взрывы гнева бригады. Непрестанно нагибаясь за очередной тяжелой тушей, чтобы, кое-как обхватив её поперёк туловища, разогнувшись, выволочь оную на стол, я старался из последних сил, но ясно понимал, что сил этих больше просто нет. А ящик ещё только наполовину пуст!

В конце концов, видимо, поняв, что выгоднее потратить на моё обучение несколько минут, нежели, работая через пень-колоду, вовсе загубить вахту, один из шкерщиков залез ко мне в ящик и, ловко хватая рыбины одной рукой под жабры, другой – за хвост, сразу штук пять или шесть, как поленья, выложил их на стол перед головорубом. Простота этой операции, создающая своеобразный конвейерный процесс, при котором подавальщику остаётся лишь добавлять по рыбёшке, в то время, как бригада в привычном ритме обрабатывает предыдущие, привела меня в восторг. Тотчас освоив премудрость, уже через минуту, под одобрительные матерки бригады, я, ритмично сгибаясь и разгиба-

ясь, продолжил работу, с удовольствием ощущая приход знакомого школьных лыжных кроссов второго дыхания.

– Ну вот, – довольно отметил головоруб, отчекрывивая очередную голову, – теперь, Студент, ты настоящий голова-жопа!

«А ведь верно! – поразился я точности определения. – Для него, видящего лишь мелькание моей головы и задницы, я не кто иной, как это самое».

Меж тем ящик постепенно пустел, и мне приходилось уже не только нагибаться за рыбой всё ниже и ниже, но и перемещаться по его пространству, примерно метра два с половиной в ширину и четыре в длину, что, естественно, сказывалось на бесперебойности «конвейера», вновь вызывая раздражение бригады. По уму бы, прервав подачу, чем-нибудь, хоть вон той вон, висящей на пожарном щите лопатой, подтащить-подкинуть оставшуюся треску поближе к столу, да куда там! Даже сама, робко высказанная мною эта мысль, вызвала такую матерщину, что лучше б мне помалкивать в тряпочку. И, сжав зубы, я метался по ящику – запинаясь о тушки, катясь по покрывшей палубу слизи, падая и, впервые в жизни, нещадно матерясь. Особенно раздражало, когда какая-нибудь уже выложенная на стол рыбина, внезапно проснувшись, «вставала на коленки», то есть, приподнявшись на хвосте, резко била им по соседней тушке и тотчас с таким трудом выложенный «конвейерный ряд» летел на палубу, а чаще на мою согбенную спину. О, как я был зол на этих тварей, а через них – на себя, слабака, на бесчеловечную «коммунистическую бригаду», издевающуюся надо мной в угоду идиотскому желанию перевыполнить план, на непрестанно штормящее Баренцево море и вообще, неведомо за что, но – на весь мир!

Думаю, именно эта огромная, обусловленная предельным отчаянием, гипертрофированная злость, родившая в самолюбивой мальчишеской душе неведомое до той поры чувство собственного достоинства, и помогла мне в тот день не сдаться, не поддаться малодушному желанию бросить к чёрту эту грёбанную непосильную работу и, заревев, убежать в свою каюту, запереться там навсегда, чтоб никогда в жизни не видеть ни этой рыбы, ни этой скользкой, уходящей из-под ног палубы, ни этих злобных, не знающих сочувствия глаз собригадников. Пусть, незнамо как, списывают на берег, бьют, да хоть расстреливают – мне было бы уже всё равно! Но, слава богу, я сумел разозлиться, а значит – выжить!

И даже то, что, когда наконец ящик опустел и бригада, удовлетворённо похохатывая, чинно удалилась под козырёк полубака перекурить, на корню зарубив моё естественное желание сделать то же самое грубым окриком: «Куда? А кто палубу будет чистить?», я вынужден был ещё минут двадцать упражняться с брандспойтом; даже то, что и после этого пришлось заново пройти всю процедуру опускания и подъёма трала (с тасканием ненавистного «бешеного конца»); и даже то, что, когда выяснилось, что улов в этом трале превысил два кошеля и по судовому закону (о, боги! будет ли предел моим мучениям!) вместо вождленного послевахтенного отдыха я должен был, наскоро перекусив, вновь (ещё на четыре часа!) вернуться в ящик (помогать сменщику) на подвахту, уже не имело критического значения. Точка невозврата была пройдена! И что бы за последующие месяцы лова, слившиеся в бесконечную цепь монотонно повторяющихся вахт-подвахт, а то и (если улов в конце подвахты достигал четырёх кошелей) авралов, со мной ни происходило, воспринималось это уже не как нечто мучительно-издевательское,

несовместимое с жизнью, а как обыденная, пусть очень тяжёлая и, порой, смертельно опасная, но – работа.

Более того, втянувшееся в эту работу моё юношеское тело, в мальчишеские года успевшее познать в футбольной и гимнастической секциях тренировочные нагрузки, уже через пару недель налило мышцы крепостью, а шестиразовое – через каждые четыре часа! – здоровое, состоящее из одной рыбы (полученного в порту мяса хватило дней на шесть) питание придало ему весьма атлетическую конфигурацию. Руки, ноги, спина, зазубрив в общем-то не сложный перечень изо дня в день повторяющихся монотонных движений, стали жить своей, отдельной от мозга, механической жизнью, освободив его от физических и моральных страданий. И, свободный, он стал замечать, что вокруг – разнообразная, полная не только буйства стихии и тягот «пахоты», но яркая и зачастую весёлая жизнь. Что «Сириус», хоть и весьма потрёпанное и непрезентабельное на фоне скопившихся вокруг него франтов – великолепно окрашенных, сверкающих никелированными деталями и пестрящих ярко-оранжевыми одедами рыбаков-«иностранцев» – всё же очень милое и даже уже родное судёнышко. Что составляющие его экипаж сорок два мужика – не безлико-неприступные, хмуρο-грубые трудяги, а интереснейшие, не лишённые чувства юмора люди со своими, главным образом непростыми, исковерканными жизнью судьбами.

Вот хоть Юнгу взять. Бедный мужичок (а ему было уже под сорок!) подрядился лет семь назад в Тралфлот в надежде за рейс-два скопить денег на калым, дабы получить, наконец, право прийти женихом в богатый дом отца своей вожделенной Зейны (осень карасивый, как горный кóсачка!). Но всякий раз, приходя с моря и неизменно на Пяти углах покупая себе жениховскую белоснежную рубашку, напивался до беспамятства (баска дурной, трусей мнока) и через неделю-другую, спустив все немалые деньжищи, в рванье на голое тело, вновь уходил «рыбалить, ля».

Или, скажем, Михаил. Как правильно называлась специальность этого члена экипажа, изготовлявшего прямо на борту консервы «Печень трески в собственном соку», не знаю, но все звали его Салогреем. Меня, естественно, он звал просто Тёзкой и, будучи мужчиной в зрелом возрасте, относился ко мне по-отцовски:

– Ну-ка, сынок, – с неподдельной теплотой в голосе говорил он, едва я, поднявшись из полубака за полчаса до утренней вахты, появлялся у «салогрейки», – подойди. Я тут тебе свеженькой печёночки приготовил. Горяченькая ещё. Специально оставил одну баночку не закатанной. На камбузе как раз хлебушек поспел, так ты намажь на него. Да ещё не торопись, чтоб вся сила её к тебе перешла, – работа-т впереди тяжёлая. Кто знает, на одну ли вахту?

Так вот, Миша Салогрей, тракторист откуда-то из-под Саратова, пять лет назад подался «на рыбу» с весьма простенькой целью: заработать на починку крыши старого материнского дома. Какая экстренная нужда потребовала этого ремонта, сколько нужно было на него денег – не скажу. Но не сомневаюсь, за годы рыбалки Миша заработал не то что на золотую крышу – новый домище!

Но... «одна у волка песня»: получив послерейсовый расчёт, Салогрей, хоть и зарекался тысячу раз пробежать «стометровку» (аллею от проходной рыбпорта до проспекта) с закрытыми глазами и тотчас ехать в аэропорт, чтобы наконец-таки возвратиться к уставшему ждать ремонта материнскому дому, а всякий раз вновь попадался на крючок ка-

кой-нибудь «рыбачки» свободной профессии, коих по обеим сторонам аллеи всегда было в изобилии, и уже через пару-тройку дней уныло взбирался на борт «Сириуса» в буквальном смысле опустошенным.

Историй подобных этим можно рассказать множество, едва ли не о большинстве членов экипажа (естественно, исключая комсостав, который, живя в Мурманске, вёл, по их словам, высокоморальный образ семейной жизни), ибо все они, по-разному начинаясь, отталкиваясь от разных, как правило благородных, причин вербовки в Тралфлот, заканчивались одинаково: беспробудный запой, бесшабашный загул с легкодоступной красоткой, а нередко и то и другое разом – и... возвращение с похмельным нутром и пустыми карманами на борт ненавистного, покрываемого последними словами, но единственно верного, готового приютить и утешить тяжёлой работой траулера.

Иногда загул-запой затягивался и, отбив отведенную графиком межрейсовую стоянку, судно уходило в море не дождавшись своих, с наскоком подобранными на берегу варягами из вновь нанятых и так же мечтающих по-быстрому, за один-два рейса срубить длинный рубль. И тогда загулявший становился бичом – «бывшим человеком» – рыбаком, живущим неизвестно где и неизвестно на что, но с рыцарской гордостью презрительно отвергающим не только любую другую работу, но и любое другое судно.

Интересно, что сам я ни к кому в душу с расспросами не лез, просто как-то само собой получалось, что в редкие минуты досуга то один, то другой, подсаживаясь, угощал куревом, а потом, после почти ритуальных вопросов о житье-бытье и тяжкого вздоха, начинал своё повествование с чего-нибудь вроде: «Да... ты, Студент, ещё салага, жизни не нюхал. А вот меня она...» И я покорно выслушивал все перипетии этих трагикомедий, даже когда валился с ног от усталости или мечтал поскорее добраться до заветной тетрадки, чтобы записать начавшие роиться в голове поэтические строчки. Выслушивал, понимая, что говорящему его душеизлияние нужно до зарезу. Как рвотное, как слабительное, чтобы хоть на какое-то время очистилась, освободилась от нестерпимо тяжелого груза безысходности душа. Но, слушая, с наивностью юношеского, не замутнённого житейскими передрыганиями мозга, никак не мог взять в толк: что за безысходность-то такая? Почему нельзя, получив расчёт, спокойно, не во что ни ввязываясь, уехать восвояси? Слабоволие? Но я каждый день видел этих людей в тяжелой морской работе. Ни в силе, ни в мужестве им не откажешь. Что тогда? Ответа я не находил, да, впрочем, и не очень от того мучился. Единственное, в чём всякий раз после подобных размышлений оставался уверенным, что со мной подобного произойти не могло бы ни при каких обстоятельствах!

Однако откровенности эти вскоре обернулись неожиданным улучшением моей жизни. Конечно, и сам я постепенно приобрёл сноровку, но теперь всё же случающиеся промашки либо нерасторопность уже не вызывали взрыва злобной брани, а всё больше доброжелательные матюги или подтрунивания. Да и влезть ко мне в ящик, чтобы подпихнуть дальние тушки, уже не считалось западло. Соответственно и я стал ощущать в душе всё большее приятие этих внешне грубых, но, в сущности, совсем не плохих, а главное, честных и открытых мужиков.

Но был в экипаже человек, с первой встречи вызвавший во мне раздражение – замполит Цыбин. За глаза его звали Цыпа, и не столько по причине коверканья фамилии, сколько из-за постоянного его стремления,

тихонько подкравшись, что-нибудь подсмотреть да подслушать. Впрочем, у меня он вызвал неприязнь ещё прежде, чем я об этом узнал.

В первую же неделю лова в конце очередной восьмичасовой вахты-подвахты, когда, обессиленный, я не хотел даже идти на камбуз, а лишь наскоро помыть рокан-буксы (к моему сожалению от этой процедуры отказаться было невозможно – не отмытая от морской соли прорезиненная одежда к следующей вахте встанет колом, что обернётся невыразимыми муками во время работы) и – рухнуть в койку... завывла сирена и из рупора под козырьком рубки бравоый голос замполита торжественно и, как мне показалось, радостно возвестил о том, что всплывший трал заполнен на восемь кошелей, следовательно по траулеру «Сириус» объявляется аврал! Не стану описывать, что я почувствовал в тот момент (явно не адекватную замполитовскому ражу радость), но... как говорят при шести пиках в преферансе – нас на спрашивают. Все так все.

И действительно, после двадцатиминутного перерыва на перекус-перекур в заваленные до краёв рыбой ящики обоих бортов влезли не только «голова-жопы» трех вахт (им на роду написано!), но и «кочегары» – вся, за исключением механика, вахта машинного отделения. За удвоенные разделочные столы встали шкерщики и... начался пир труда. Ей Б-гу! Вот ведь что делает с людьми коллективность. Только что, измученные и раздраженные, мы едва ноги передвигали, были злобны и угрюмы. Но едва из репродукторов загремела бравоурная музыка – над мельканием сноровистых рук засияли улыбки, из конца в конец палубы залетали шутки, подначки да весёлые подбадривающие окрики. Среди этой радостной суматохи я даже не сразу обнаружил, что самого закопёрщика, призывавшего: «Давайте все разом, вместе, невзирая на должности, навалимся!», на палубе нет. Лишь через час он спустился к нам с мостика. О, это надо было видеть! Ослепительно-оранжевые рокан-буксы (наши-то давно забыли, какого они вообще цвета), белоснежные мичманка и рукавицы... Всё это на фоне обшарпанной, давно не крашенной надстройки выглядело так нелепо, что даже не смешно. Но главное произошло потом. Прокравшись бочком мимо нас – копошащихся в ящиках, стоящих за разделочными столами и «навалившихся все разом, вместе, не взирая на должности» – Цыпа, двумя пальцами подняв за хвост с палубы завалившуюся тушку мелкой трески и демонстративно – чтобы все видели! – уложив её на стол к головорубу, довольно отряхнул руки и, слащаво улыбаясь, изрёк: «Ну, я вижу аврал проходит на должном уровне, поставленная задача будет выполнена. Молодцы, товарищи! Пойду давать РД (радиограмму. – Авт.) в управление».

В этот момент уложенная Цыпой рыбёшка, внезапно ожив, «встала на колени», и соседние тушки разом повалились на мою согнутую спину.

– Ну, вашу мать! – невольно вырвалось у меня. – Вместо рапортов лучше б помогли работать! Хотя бы вот за рыбьими хвостами следили...

– Не вам, товарищ Студент, мне указывать, что лучше, сначала вуз закончите, а то ведь можно и характеристику подпортить... – процедил залившийся краской замполит, явно не ожидавший от меня дерзости (до этого он вроде как отделял мою полуинтеллигентскую персону от остального малообразованного контингента экипажа). – А насчёт рыбьих хвостов... – изменившимся и как бы подобревшим голосом продолжил он, почему-то подмигнув Сане-головотяпу, – давно бы обратились к боцману, чтоб выдал вам рыбобой.

«Ух, ты! – вспыхнула во мне обида. – Выходит, есть у них специальное приспособление, чтоб рыба не трепыхалась, а эти жлобы специально мне ничего не сказали, чтоб поиздеваться?»

На флоте спокон веку подшучивали над салагами – молодыми, неопытными членами экипажа, получившими это прозвище от выпускников моряцкой школы, учреждённой Петром I на беломорском острове Алаг. Не преминули воспользоваться этой традицией и мужики с «Сириуса», пытаясь посылать меня то за парой метров ватерлинии, то за ведром трансмиссии, а то и просто заточить рашпилем лапу якоря, иначе-де плохо держит. Но, с десяти лет приобщившийся к флоту, я с ухмылкой знатока игнорировал все эти «покупки». Однако, как говорится, и на старухе бывает прореха, на сей раз я-таки попался. И понял это сразу, едва, по указанию эСэСа взобравшись на спардек, увидел прикрепленные к лееру здоровенные, с рукояткой метра в три длиной молотки, как потом выяснилось, для сбивания льда с обносов.

– Ах ты, зараза замполитовская! Вот так, значит, решил наказать меня за дерзость? И ведь на чём купил? На моем незнании рыболовецкой специфики да наивной уверенности, что уж комсостав-то до подводхов не опустится.

В ту же секунду в сознании всплыла недавняя «хохма» бригады – настолько мерзкая и унижительная, что несколько дней после этого я глаз не мог поднять от стыда.

Среди трески, составлявшей основу нашего улова, изредка попадались в трал и такие представители рыбной фауны Арктики, как морской окунь, палтус, зубатка и синюха. Про зубатку Миша Салогрей сказал мне едва ли не в первый день рыбалки: будут прикалываться, мол, сунь зубатке палец в пасть, она свистнет – не верь! Даже пролежав на палубе несколько часов, она способна так сжать челюсти, что перекусывает черенок швабры. А вот синюха... Огромная, с хорошую свинью её туша – голубая со спины и бело-розовая на животе – своими явно выраженными женскими гениталиями неизменно вызывала скабрезные комментарии мужиков «Сириуса». Я, поелику возможно, пропускал их, как и остальной, постоянным фоном звучащий мат, мимо ушей. Но однажды... В очередной раз зайдя после вахты в душевую кабину, я тщательно отмыл от соли рокан-буксы и, максимально открыв вентиль пара и отрегулировав температуру воды, встал под душ. О! Это – лучшие минуты в моей работе! Душевые были цельносварными и закрывались настолько плотно, что через пару минут после подачи пар наполнял их непроницаемой, обволакивающей горячей «ватой», создавая замечательный эффект сауны. После ледяных волн и пронизывающего насквозь ветра – о чём ещё можно мечтать? Поэтому, несмотря на усталость и смертельное желание спать, я хоть на пару минут, но оттягивал момент окончания процедуры.

Как им это удалось?.. Ума не приложу. Но едва я открыл дверь душевой, тотчас был встречен диким гоголом собравшихся в раздевалке собригадников, с гадкими ухмылками указывавших на открывающуюся в рассеивающемся паре возле моих ног тушу синюхи со специально развороченными детородными органами. «Мужики! Студент-то наш синюху оприходовал!» – «Во извращенец!» – «Поделись, салага, как оно? Подмахивала?!» – орали они, перебивая друг друга и захлёбываясь от звериного ража.

Всплывшее из подсознания это унижение, что называется, сорвало меня с катушек:

– Ну, гады, счас вы у меня за всё получите! – Отцепив одну из колотушек, спокойно, стараясь ничем не выдать кипящей во мне ярости, спустился я на палубу и гаркнув: – А ну, расступись! – под изумлённые взоры и матюги присутствующих, принялся нещадно колотить по оставшейся в ящике рыбе, обильно покрывая их одежду и лица ошметками внутренностей и блёстками чешуи. Особенно (и не без моего старания) досталось сверкающим рокан-буксам Цыпы.

С тех пор «купить» или подколоть меня уже не пытался никто, а замполит, хоть и старался порой напакостить, заставляя то политинформацию подготовить, то стенгазету выпустить, специально подгадывая, чтобы занимался я этими в редкие часы отдыха, но на прямой конфликт идти уже побаивался.

Меж тем череда однообразных, почти не отмечаемых сознанием дней, перетекла в октябрь. Я понял это не только по участвовавшим многобалльным штормам, но и по снегам, всё чаще опускающим над Баренцевым свои бело-серые завесы и быстро покрывающим и без того скользкую от рыбной слизи палубу корочкой льда. Работать стало не только труднее, но и опаснее. О том, сколько раз, поскользнувшись, я растягивался на палубе, больно ушибая локти, спину или голову, уже не говорю. Но дважды в эти дни моя семнадцатилетняя жизнь запросто могла закончиться в пучине холодных вод.

Первый раз это случилось во время утренней вахты. Шторм был баллов 5–6, но видимость вполне хорошая, и даже временами сквозь сплошную вату серо-черных туч пробивались солнечные полосы. Предшествующая вахта только что сбросила трал за борт, и «Сириус» начал циркуляцию. По заведённому распорядку смена вахт происходила с боем склянок, причём какую бы операцию в этот момент ни производил сменяемый – отдавал ли гачок на кошеле спускаемого трала или, наоборот, цеплял его на поднимаемый, шкерил ли рыбину, стоял ли за штурвалом, – он тотчас прекращал этим заниматься, стопроцентно уверенный в том, что в ту же секунду операцию продолжит сменяющий.

Вот и в тот раз, взваливший было на плечо «бешеный конец» Вова из-Кишинёва, при первых звуках рынды, не оборачиваясь, с торжествующим выдохом «вахту сдал!», привычно сбросил тяжёлый трос на готовые его подхватить мои руки. «Принял!», чуть качнувшись от тяжести, крикнул я и, взвалив крюк на плечо, помчался на корму, за которой вот-вот должны были натянуться ваеры. То ли из-за спешки, то ли потому, что мозг не полностью включился в ритм работы, привычную процедуру наблюдения краем глаза за величиной наваливающейся на борт волны, дабы отследить самый большой девятый вал, я пропустил. И потому вовремя, как это всегда делал при ударе высокой волны, не прижался к надстройке, крепко вцепившись в идущий вдоль неё поручень. И тотчас был за это наказан. Сказать, что накрывшая траулер по рубку волна подхватила меня, как щепку – банально. Но точно. Сначала она сильно ударила меня головой о переборку, отчего на мгновение я, видимо, потерял сознание, а когда пришёл в себя, сквозь полуметровую толщу прозрачной воды увидел уплывающий подо мной вправо верх борта судна.

«Значит, меня смыло», – без испуга, а даже как-то отстранённо-флегматично констатировал мой мозг и принялся размышлять о том, надо или нет мне освободиться от «бешеного конца». С одной стороны, эта тяжеленная железяка немедленно утянет меня на дно, с другой, трос этот – единственная моя связь с траулером и надежда на то, что за него

меня вытаскал. Рассуждения эти так меня увлекли, что за ними я не заметил, как «Сириус» уже качнулся в мою сторону, а удачно зацепившийся за швартовную утку трос (хорошо, что не поддался инстинктивному желанию сбросить его!), словно праща, выкинул меня на палубу.

С этого момента возможная трагедия незаметно для меня превратилась в хохму, которая долго ещё вызывала смех у экипажа. Одной рукой удерживающий на плече гак и интенсивно, думая, что нахожусь в открытом море, гребущий другой, я какое-то время был не видим под залившей палубу водой. Но по мере того, как вода эта стекала сквозь кингстоны и бортовые щели, курящим в укрытии полубака всё явственней вырисовывались сперва машущая моя рука, затем активно работающие ноги и, наконец, пикирующее под тяжестью гака тело. В себя я пришёл от резкой боли в кисти левой руки, со всей силой гребка вдавившей по оголившейся палубе.

Полубак оглушал многоголосый хохот, который я, оценив комизм ситуации, подхватил, тотчас умчавшись завершать процесс стопорения уже натянувшихся ваеров.

Второй раз всем уже было не до смеха. Ловили мы глубоко на севере, в районе острова Шпицберген, где октябрь бил нас не только постоянными многобалльными штормами, но и частыми снежными зарядами, существенно ухудшающими и без того плохую в условиях начинающейся полярной ночи видимость. Вот в один из таких дней во время вечерней вахты, когда даже яркий луч прожектора с рубки не очень-то освещал палубу, я и потянулся отдавать гачок с кольца опускаемого за борт трала. Надо сказать, что и в нормальную-то погоду при свете дня эта операция всегда вызывала у меня опасение: качка, ветер, сети с укрепленными на них бобинцами, норовя ударить по голове, раскачиваются на стреле лебёдки из стороны в сторону, так что приходится больше чем по пояс переваливаться через борт, стремясь не просто дотянуться до кошелёвого кольца, но и произвести соответствующую манипуляцию с оснащённым карабином гачком. Но прежде как-то обходилось. А тут...

Не видя меня за снежной пеленой, тралмейстер Мыкола, отдав стопор лебёдки, был уверен, что я уже закончил операцию и стою на палубе. Но в тот момент заело карабин на гачке, и я, пытаюсь его открыть, в буквальном смысле повис на сетях, больше чем по пояс вытянувшись за борт. Поэтому, когда вся масса поднятой стрелой сети и шестидесятикилограммовых бобинцев упала на мою спину, как-то вывернуться было уже невозможно. И вместе с сильной болью в лице, обдираемом ржавым бортом, по которому, плотно прижимая, тащил меня трал, я, мгновенно поняв, что это – всё! конец! – испытал даже не страх – жуткий ужас. И стало, как бывало в детстве, очень жалко себя. До слёз! И замелькали в сознании лица мамы, папы, школьного друга Кольки и Сёмки-соседа. И наш канавинский дворик с двумя берёзками под окнами, под которыми я, будто бы готовясь к выпускным экзаменам, безмятежно дрых на раскладушке, прикрыв лицо учебником. И робкие, неумелые, но безумно радостные целования с десятиклассницей Танечкой в полумраке подъезда её большого дома. И...

В тот момент, когда я уже понял, что захлёбываюсь, неожиданно тяжесть давления на тело ослабла и одновременно острая боль пронзила икру левой ноги. Сильные руки вытянули меня наверх, поставили было на ноги, но они тотчас подогнулись, и в полуобморочном состоянии я рухнул на палубу.

Очнувшись от резкого, остро ударившего в нос запаха нашатыря, я какое-то время не мог понять, где нахожусь и что происходит. Надо мной, то появляясь, то исчезая в плотной тёмно-серой завесе нескончаемо падающего снега, раскачивались мокрые лица, среди которых, наконец, узналась бородатая физиономия тралмейстера Мыколы, беспрестанно бормочущего: «Вставай, а? Хлопчик, як же ж я недогледив, мало не вбив тебе... я ж думав, що ти вже усё сробил. Вдруг, дивлюся, чобиёт над бортом плигонув. Я лебидку вгору и за богор... Ну, що очуняв?»

И тут я ВСЁ ВСПОМНИЛ!

И вместе с осознанием того, что только что моя едва начавшая входить во вкус жизнь могла оборваться, вместе с болью, обжигающей кровоточащее, ободранное лицо и пораненную икру, вновь пришла жалость к себе любимому. Не просто, а – всеобъемлющая, готовая сорваться в истерику. Плечи мои затряслись, подбородок задрожал... Ещё секунда и, не стыдясь окружающих, я заревел бы, как пацан – взахлёб, до заикания! Но в этот момент СС, подняв меня за плечи и, встряхнув, ставя на ноги, гаркнул в самое ухо:

– Как вспомнишь, бывало, разинешь едало – а мухи-то роем летят!! Чё разлётся, Студент? Трал – на циркуляции! Пулей омылся и – за «бешеным концом»! И, видя, что я ещё не шелохнулся, добавил презрительно: «Хиляк...»

Теперь, с высоты минувших десятилетий, я мысленно благодарю этого грубого, «академиев не кончавшего» и не знавшего психологических основ мужика, принявшего в тот момент единственно верное решение. Ведь пожалей они меня тогда, дай опуститься до постыдного плача – всё! Не смог бы я больше ни на штормящую палубу выходить, ни в глаза экипажу смотреть. Одно – страшно, другое – стыдно!

А тогда... Пришпоренный хлётским, как плеть, бьющим по мальчишеской гордости словечком «хиляк», я и впрямь пулей метнулся в душевую и уже через несколько минут, стараясь не обращать внимания на жжение ободранного, разъедаемого солёной водой лица, стопорил натянувшиеся ваеры трала.

Конечно, случившееся не могло пройти совсем бесследно. Я не о лице, долго ещё покрытом коричневыми, чешущимися корочками, и не о разорванной багром икре. О душевном состоянии, при котором я вдруг, чего не бывало прежде, стал отмечать, что во время передач «внутреннего», предназначенного только для экипажей Тралрыбфлота, радио, после неизменных рапортов о трудовых достижениях чего-то там в честь, начинает звучать печальная музыка и бесстрастный голос диктора монотонно зачитывает списки пропавших без вести или погибших рыбаков, а иногда и известно сгинувших судов. И стала – даже во время изнуряющей работы! – всё чаще и назойливей накатывать тоска по дому, по Танечке, по друзьям... Да просто – по ТВЁРДОЙ, НЕ УХОДЯЩЕЙ ИЗ-ПОД НОГ СУШЕ!

Слава Б-гу, что всё – даже плохое! – заканчивается. Подошёл к завершению и наш рейс. Описать ликование моей души, когда, стоя у штурвала и уже заправски, едва ли не двумя пальцами держа курс на означенный румб, я увидел чуть справа впереди проступившие сквозь утренний туман контуры скалистого берега, передать трудно. Но, видимо, оно так светилось в моих глазах, что стоящий рядом капитан, словно подтверждая мою догадку, утвердительно кивнул: «Да, Студент, справа по борту Кувшинская Салма, будем заходить в Кольский залив». Потом, выдержав небольшую паузу, он продолжил:

– А, что... может, ещё в один рейсик сходишь?

«Ага, разбежался!» – чуть не вырвалось у меня, все последние дни только и мечтавшего о том, как, получив расчёт, помчусь я в кассы Аэрофлота и самым ближайшим рейсом полечу в любимый Горький. Но, сдержавшись, в слух соврал:

– Я бы, Василий Давыдович, не против. Но, сами знаете, мне декан до 1 ноября разрешил задержаться...

– Жаль. Парень ты оказался толковый и... не хлюпик. Я б тебя ещё взял. А то... подумай – ещё на рейсик? С институтом-то наши кадры договаряются.

Я, конечно, был непреклонен и, едва сменившись, чувствуя скорое приближение рыбпорта, кинулся запикивать в рюкзак разбросанные по всему кубрику вещи. «Ну, вот, вроде и всё, – довольно оглядев кубрик, заключил я, затягивая верёвку переполненного рюкзака, – можно и перекурить». Сердце моё нетерпеливым пацанёнком скакало в груди, дрожащие от возбуждения пальцы никак не могли достать из коробка спичку. В этот момент ударившийся о пирс «Сириус» сильно качнулся и, с трудом удержавшись на ногах, но при этом, сумев поймать слетевшую с верхней коечки гитару, я понял: причалили!

Резво взвалив на плечо рюкзак, я собрался было открыть дверь кубрика, как она сама распахнулась, впуская тралмейстера Мыколу.

– Збираэшься в мисто? Гарна справа. – «Хлопчик с-пид Киеву», хоть и вполне внятно, несмотря на украинизмы, говорил по-русски, но в минуты душевного подъёма любил покуражиться, полностью переходя на мову. Судя по всему, сейчас была именно такая минута. – Тильки спочатку треба сходити у касу отримати розрахунок. – Видя мои недоумевающие глаза, Мыкола довольно добавил: – Що, турист, не розумиэш? Я говорю, що упрэждэ чим до Мурманску двигати, трэбо у каси гроши получитьи.

Я не сопротивлялся. Коль так положено – «пидэмо до каси»! Впрочем, сперва элементарное понятие «идти» оказалось весьма непростым делом. При первых же шагах по суше мой вестибулярный аппарат, привыкший жить на раскачивающейся палубе, едва не бросил меня на пирс, словно хорошо выпившего, не способного стоять на ногах алкаша.

– Оно как, турист, земля не тримаэ, море, виходить, надийнише? – рассмеялся тралмейстер, крепко подхватив меня под мышку. – Ну, ничего, отримаэмо грошенят, приймемо на груди – усе стане на свои мисця.

Озабоченный прямохождением, фразу о приёме на грудь я как-то не зафиксировал, а вот минут через пять, когда поступь вновь обрела уверенность, от внезапного осознания близости расчёта, разыгралось любопытство.

«Сколько, интересно, начислят? Оклад у меня, вроде, за сотню, да ещё “северные” да “гробовые”, да за сданную рыбу при перевыполнении задания... а моя “комтрударная” процентов двести как минимум дала – дважды сдавали улов на плавбазы... Правда, мужики чего-то говорили про вычеты – колпит там, сигареты, раз пять печенье с конфетами в лавке брал да пару раз РД отбивал домой, чтоб не волновались... Но уж не больно это всё и дорого! Может... рублей 200, а то и 250 дадут. Так ещё ведь дорогу в оба конца должны оплатить и в ДМО прожизвание... Вот здорово!»

Размышляя таким образом и периодически что-то отвечая без умолку тараторящему Мыколе, я не заметил, как, казалось, нескончаемая

очередь впереди стоящих рыбаков из различных вернувшихся с моря судов, переполнявших небольшое помещение возле портовых ворот, привела меня к окошку кассы, плотно прижимая нетерпением толпящихся сзади.

– Пёсин? – выкрикнула кассирша, мельком взглянув в протянутую мной учётную книжку рыбака.

– Песин...

– Чё?

– Не Пёсин, а Песин, говорю, моя фамилия!

– А мне без разницы. Тут ударения (!) не проставлены. Расписывайся! Сумма прописью. Число сегодняшнее!

Взглянув на протянутую кассиршей бумажку, я увидел цифру... 367...

– Ск-колькo? – заикаясь, с трудом из-за перехватившего горло дыхания, выдавил я, полагая, что плохо вижу и потому с испугом думая, что «рыбалка» снизила моё зрение, а значит, теперь меня непременно выгонят с факультета судовождения.

– Что, мало?! – саркастически ощерилась кассирша, блеснув желтизной золотых зубов. – Так меньше на колпите жрать надо было и курить тоже. Короче, не задерживай! Вот тут пиши: восемьсот...

Да, глаза меня и впрямь подвели. С перепугу или от невероятности подобного они приняли восьмёрку за тройку, которая и так уже делала получаемую сумму огромной. Теперь же пачки денег, выкладываемые кассиршей на прикошечную полочку, делали её гигантской! Представьте: первокурсник с двадцатипятирублёвой стипендией, каждый день получающий от мамы по полтиннику на перекус в институтском буфете, и вдруг!.. Знаете, что можно было тогда купить на эти деньги? Разом осуществив мечты подавляющего большинства моих сверстников – мотоцикл «Иж-планета» плюс лучший по тем временам катушечный магнитофон «Днепр». Да ещё и как следует их обмыть! Кстати, об обмыть. Поскольку в стране нашей издревле было принято всё мерить пол-литрами, то для наглядности скажу: заработок мой составил более 300 бутылок водки или свыше 600 бутылок особо популярного среди студентов ГИИВТа портвейна «Волжское розовое».

Так что ту сумму – 867 р. 17 к. – мне не забыть никогда!

Не без труда рассовав по карманам (так что и пиджак, и бока брюк под ним вызывающе топорщились) внезапно свалившееся богатство, я, не дожидаясь Мыколы, не спеша направился в сторону «Сириуса», сия, как надраенная корабельная медь.

– Ти куди? – с нескрываемой обидой в голосе окликнул в спину тралмейстер.

– Дык за вещами. Брошу в ДМО и пойду за билетами на самолёт...

– Ни, тик не можно... Положено пился рейси посидити, попрощатися. Я ж тоби от смерти врятував! Зараз пидемо у шинок, буду з тебе справжнього маримана робити!

Я, конечно, был благодарен Мыколе за спасение жизни и обижать его отказом не стал. «В конце концов, что случится, если я немного выпью с ним на прощание? Ну, не сегодня, завтра возьму билеты: всё равно море уже позади и главного направления – к дому – это не изменит!»

Крепко обняв за плечи так, что я оказался у него под мышкой, здоровенный Мыкола вывел меня из проходной рыбпорта и повёл по «стометровке», с обочин которой чем дальше мы продвигались, тем активнее раздавались призывные женские голоса.

– Ти, турист, нэ реагуй. Це непотрибни жинки, як трясовина: вступиш – засмокче. Без штанив залишишся! – по-отечески наставлял он, периодически, как от назойливых мух, отмахиваясь от тёток зычным. – Не треба!

Ресторан «Арктика», в который мы пришли, располагался на площади Пяти углов в стандартном четырёхэтажном здании гостиницы с тем же названием. Время было дневное, посетителей немного. Главным образом, командированные или работники близлежащих контор. Публика небогатая, потому и официанты её не особо жаловали: не спеша подходили, через губу принимали заказ и тем более не спеша его приносили. Так же полноватая, не первой свежести официантка с синевой под глядящими мимо, скучающими глазами начала обслуживать и нас.

– Принеси-ко, дивчина, пляшку горилки и грановани стакани, – в предвкушении грядущего возлияния мягким, даже ласковым тоном начал Мыкола.

– А по-русски сказать нельзя?! – грубо прервала его официантка. – Чё надо?

– Возможно. Тильки грубиянити не треба, – всё ещё стараясь держаться в рамках приличия, ответил тралмейстер и, оставив мову, попросил: – Бутылку водки и гранёные стаканы.

– Водки нет, только бренди! А стаканы – в забегаловке. У нас ресторан!

– Хай буде бринди, тильки стакани щоб були! – И, как бы в подтверждение обязательности выполнения своей просьбы, Мыкола достал из внутреннего кармана пиджака пачку денег и купеческим жестом бросил её на стол.

Метаморфоза, произошедшая с официанткой, была поразительной. При виде денег она тотчас выпрямила, выпятив грудь, спину, глаза загорелись алчным огнем, и не успели мы опомниться, как на столе появилась бутылка с темно-коричневой жидкостью, а вместо мигом убранных бокалов – два гранёных стакана.

Удовлетворённо подмигнув (мол, учись, салага, как должен вести себя вернувшийся с моря рыбак), Мыкола, плеснув на дно моего стакана, налил себе полный и дрожащей от нетерпения рукой, так, что переливающаяся влага закапала на рубашку, единым махом опрокинул содержимое в широко раскрытый рот. На какое-то время он замер, будто внутренним зрением отслеживая, как бренди разливается теплом по телу. Потом, быстро налив ещё полстакана, так же быстро выпил и... Зрачки Мыколы затуманились, лицо приобрело багровый оттенок, рот расплылся в блаженной улыбке, и, глянув на меня уже не видящим взором, он, достав еще пару пачек и бросив их на стол со словами «розпла тишся, туриссс», рухнул лицом на скатерть.

Некоторое время я, оторопело глядя на растёкшуюся по столу сопящую физиономию тралмейстера, сидел, размышляя, – что делать дальше? Первое желание – немедленно уйти от этого позора и, забрав шмотки с «Сириуса», заняться, наконец, отъездными хлопотами. С другой стороны, бросить Мыколу в таком состоянии, с огромными деньжищами, часть которых, грядущая на столе, уже мозолила глаза окружающим, – непорядочно. Не по-товарищески.

– Может, что-то покушаете? – Голос официантки был обволакивающим сладким, вызывающим желание ответить согласием, тем более что слышал я женское воркование впервые после многомесячного вращения в сугубо мужской грубо-матерной среде. «А почему бы и не поесть?

Время-то давно послеобеденное», – подумал я и тотчас почувствовал, как голодная слюна подкатила к горлу.

– Могу предложить салаттики... из свежих овощей... с крабами... оливье... Икорочка в ассортименте. На первое – рассольничек с расстегайчиками... борщ по-украински с галушками... соляночка. На второе – палтус...

– О, нет! Только не рыбу! – невольно воскликнул я, уставший от бесконечного рыбного рациона. – Что-нибудь мясное с жареной картошечкой... И – побольше!

Едва появились холодные закуски (причём явно мною не заказанные, потому что, помимо салатов среди них были и селедочка с лучком и сливочным маслом, и мясные нарезки, и бело-розовые ломтики осетрины, и много чего другого, мне неведомого), у меня начался, в буквальном смысле, жор. Отправляя в рот то одно, то другое яство, запивая всё это терпким бренди (сперва наливаемым на доньшко, а позже и по полстакана) я всё никак не мог насытиться. И не столько из-за действительно голода, сколько от впервые появившейся возможности вкушать всё это дорогущее изобилие.

Дальнейшее вспоминается уже нечёткими и несвязными картинками. ...какие-то люди – мужчины и женщины – шумно пьют за нашим столом, называя меня долгожданным, вернувшимся с моря корешем...

...тралмейстер Мыкола (видимо, уже очнувшийся) с хохотом рассказывает, «як врятував мени життя», вытащив из-за борта багром за сапог, и предлагает «всим випити за хрещення салаги морем»...

...расплывающиеся буквы меню, в которое я тычу пальцем, говоря официантам (должно быть, их было уже много): – Принесите это... и это... и это!»...

...запах крепких духов, смешанный с табаком и алкоголем, исходящий от чего-то необъятного, мягкого и потного, жарким языком влезающего в мой рот...

Пробуждение было противным. Сухость во рту, дурнота и нескончаемая тупая головная боль – далеко не всё, что я ощутил, очнувшись от ночного беспамятства. В приоткрывшиеся веки сначала вплыл потолок со следами протечек – сизый от сумеречного утреннего света, с трудом пробивающегося сквозь давно не мытые стекла наполовину задернутого чем-то окна. Потом взгляд скользнул по стене с отклеивающимися непонятного рисунка обоями, к которой примыкала моя кровать. Она была железной, покрашенной в синий цвет с давно забытыми блеск хромированными набалдашниками на спинках. Наконец, повернув голову, я увидел небольшую неприбранную комнату, по которой, совершенно не обращая на меня внимания, нервно курая, ходила незнакомая женщина. Неясного цвета халатик, накинутый на голое тело, прикрывал его лишь со спины и, порой, с боков. Тело было явно не молодым – с обвисшими грудями и дряблым животом, спускающимся складками в обильную тёмную поросль. На отёкшее лицо стекали пряди нечёсанных волос.

– Очухался? – без каких-либо эмоций спросила она.

– Ты кто? – плохо соображая, задал я первый пришедший в голову вопрос.

– Конь в пальто! – с легким раздражением огрызнулась она. – Одевайся и сваливай по-быстрому. Скоро мой должен заявиться.

– А где мы? Ну... в смысле далеко от ДМО?

– На троллейбусе остановок семь.
«Как же, поеду я тебе на троллейбусе! – съязвило моё похмельное Я. – Возьмёшь тачку, не бедный!».

Откинув то, что служило одеялом, я обнаружил, что абсолютно гол и тотчас стеснительно прикрылся. Заметившая это женщина, язвительно хмыкнув, демонстративно отвернулась. Я попытался взглядом найти свою одежду и лишь через некоторое время обнаружил под столом скомканные брюки, а пиджак и вовсе под кроватью. Постепенно нашлись и остальные детали. Но не это уже меня волновало. Едва взяв в руки, я понял, что ни в брюках, ни в пиджаке... денег нет. То есть вообще! Ни копейки!! «Восемьсот шестьдесят семь...» – дразня, проплыла в похмельном мозгу цифра.

– Эта... ты... не видела? Тут у меня...

Но встретившись с наглым взглядом усмехающихся глаз, я понял – вопросы задавать бесполезно.

– Чё копаешься? Хочешь моего дожидаться?

– Ты... слушай, хоть двадцатипятирублёвку дай!

Рассмеявшись, она засунула руки в карманы халата и подняв их, как крылья, нагло обнажая бесстыжие прелести, процедила:

– А не пошёл бы ты... туда?!

– Ну... хоть на троллейбус.

О чём думал я, возвращаясь на «Сириус», говорить излишне. Но все мои мысли и чувства, видимо, так красноречиво были написаны на лице, что даже дежуривший у трапа Юнга, кинувшийся было ко мне с претензиями, дескать, он обиделся, подумав, что я не попрощавшись с ним, который его «осена уфажал», уехал, внезапно осёкся и, положив руку на моё плечё, грустно вздохнул:

– Знасися и ты... От жись... шайтан!

Опустив глаза, я молча прошёл в свою каюту, смахнул с кочки собранный в дорогу рюкзак и, не раздеваясь, рухнул головой в подушку. Было горько и обидно, но одновременно понятно, что виноват сам и претензий предъявлять некому. И, значит, завтра я напишу кэпу заявление и уйду ещё в один рейс. А институт?.. ну, Давыдыч же обещал, что кадры договорятся.

Определив самому себе ближайшее будущее, я постепенно успокоился и, засыпая, даже внутренне усмехнулся, вспомнив некогда категоричное «Со мной подобного произойти не могло бы ни при каких обстоятельствах...».

Студент!